

Глава I

Духота

Сначала надо было выжить.

Выжить, выкарабкаться на поверхность жизни из черной инфарктной пустоты. Как первый шаг, хотя бы преодолеть немощность, ощутить себя — распятого на больничной койке: в правой руке — игла капельницы, в левой — еще что-то столь же «приятное», голову от подушки не оторвать. Лежишь неподвижно, полностью отключенный от мира, как потом, по его уверениям, Президент страны в райском своем Форосе: телефон, радио, телевизор — все молчит. А врачи и медсестры, будто поддерживая некий заговор, твердят только одно: вам нельзя волноваться, вам нужен полный покой.

Несколько месяцев спустя, когда мне пришлось включиться в скоростную предвыборную гонку в числе кандидатов в президенты России, в некоторых очень демократических газетах высказывалось этакое трамвайное любопытство: а был ли у Рыжкова инфаркт? Смотрите, как он в телевизоре выглядит, каждый день выступает, по стране ездит! Приводились даже письма опытных инфарктников, где гневно утверждалось: мол, я три года назад инфаркт перенес и до сих пор недомогаю, а этот... И лишь остатки элементарной вежливости, сильно подрубленной эпохой гласности, понятой многими журналистами и не только ими как вседозволенность, не давали заклеить окончательно: симулянт Рыжков!

Неужели виноват, что выжил, выздоровел, постарался забыть о болезни? Почему так получилось — о том проще врачей спросить. Можно было бы, конечно, привести здесь больничную историю моего недуга, кардиограммы, анализы, да, боюсь, не каждому, мягко говоря, интересно будет.

Скажу лишь, что в первые дни плохо было, непривычно

плохо и даже страшновато: может быть, потому, что за всю жизнь ничем не болел, кроме гриппа, и никогда не знал состояния боли и неподвижности. Оттого безоговорочно и слушался врачей. Не сопротивляясь, вступил в их «заговор»: даже с женой — а она с самого начала моего заточения прорывалась ко мне, пусть хоть на десять минут вначале, — даже с ней никаких серьезных проблем не обсуждали.

В общем, после первых, особенно тяжелых дней врачи твердо пообещали: через месяц вы из больницы сами уйдете. Поверил, и, действительно, через месяц ушел, навсегда унося в душе безмерную благодарность всем, кто знаниями, опытом, заботой, человечностью своей вернул меня к жизни. Был вместе с тем, по моему глубокому убеждению, и еще один фактор моего выздоровления — сумасшедшая и прекрасная четверть века на заводе, на сумасшедшем и прекрасном Уралмаше моем, закалившем меня крепко и навсегда. Болеть было некогда, вот и не научился этому...

Пожалуй, не стоило бы уделять моей болезни столько внимания, но, к сожалению, это несвежее дежурное блюдо время от времени подается и сейчас в нужный кому-то момент. А в дни моего выздоровления жена приносила в больницу письма и телеграммы — доброжелательные и трогательные. Из всех уголков Советского Союза писали люди — молодые и пожилые, знакомые и незнакомые, горожане и селяне, школьники и студенты. А адрес в основном был написан так: Москва, Кремль; Москва, клиническая больница; или просто — Москва, Рыжкову Николаю Ивановичу. Бережно храню тысячи таких телеграмм и писем. Они очень помогли мне в самый, наверное, трудный период жизни.

В больницу я попал в ночь на 26 декабря, а спустя две недели, 10 января 91 года, в палату зашел главврач и, словно зондируя, спросил осторожно:

— Михаил Сергеевич звонил, интересовался: когда он вас может навестить?

Любопытная постановка вопроса! Раньше, помнится, такой предупредительности Михаил Сергеевич не проявлял...

— Не я здесь хозяин, — ответил. — Вам решать: может ли и когда может...

А про себя подумал: чем скорее, тем лучше. Искренне считал: и для него, и для меня предстоящий разговор — тягостная, но неизбежная необходимость.

Горбачев приехал в субботу, 12-го, часам к пяти вечера. Тогда я уже самостоятельно передвигался по палате, но все средства связи с миром по-прежнему замыкались для меня

на жене, которой, правда, позволялось сидеть со мной теперь по целому часу в день. Так что это был первый визит из «большого мира», и я надеялся узнать от Президента немало важных новостей. Горбачев вообще человек сентиментальный, этого качества своего не скрывающий, в тот вечер, увидев меня, растрогался и даже расстроился. Ничего удивительного: я и сам, когда стал бриться по утрам, ежедневно наблюдал в зеркале страшноватенького, мягко говоря, субъекта, исхудавшего, зеленого...

На следующий день в газетах появилось официальное сообщение, что Горбачев «...нашел Николая Ивановича окрепшим. Между ними состоялась беседа о текущих делах, которыми живут страна, общество. Михаил Сергеевич пожелал Н. И. Рыжкову скорейшего выздоровления и передал сердечный привет от товарищей по работе. Н. И. Рыжков поблагодарил за внимание и дружескую поддержку, просил передать наилучшие пожелания всем, кто справлялся о его здоровье».

Горбачев явился в больницу прямо из Кремля, с нелегкого, по-видимому, заседания Совета Федерации: новый год с его все более ощутимой опасностью трагического развития событий в стране уже начался, а она явно не была к ним готова (впрочем, об этом — позже).

Сказал устало:

— Даже пообедать не успел. Перекусить у тебя есть чем?

Принесли чай, бутерброды — обеденное время в больнице давно минуло.

После дежурных расспросов о моем здоровье Горбачев перешел к вопросу, только ради которого, думаю, он и хотел меня увидеть в этот день. Никакого обсуждения текущих дел, «которыми живут страна, общество», вопреки сообщению в прессе, не было. Нет, этот летучий вроде бы совет был для него, судя по ходу беседы, простой и необременительной данью уже умершему соратничеству, данью вежливости — для общественного мнения, прежде всего. Основная же цель его прихода ко мне состояла в том, чтобы получить подтверждение с моей стороны отказа возглавить новый орган — Кабинет Министров при Президенте, и он это подтверждение получил: я еще раз заявил о своем уходе с поста главы Правительства. Думаю, что именно такое решение обрадовало и его, и многих членов Совета Федерации, тех, которые потом сыграли в жизни страны поистине роковую роль.

Конечно, это окончательное решение далось мне не легко. И вызвано оно было не только и не столько болезнью, сколько все более отчетливым пониманием того, что политика Президента — Генерального секретаря ЦК КПСС, в том числе по отношению к исполнительной власти, недальновидна и губительна для страны.

Ведь развал в ней набирал силу, в первую очередь удар наносился именно по высшей общегосударственной исполнительной власти, которая стояла на пути тотального разрушения. Я имею в виду похороны Совета Министров СССР и явление на свет нового образования с резко суженными функциями и полномочиями — Кабинета Министров, непосредственно подчиненного Президенту. Политическая карусель уже настолько закрутила Генсека, что он искал любую соломинку для своего спасения. К тому же и руководителям многих республик не нужен был Рыжков — с его взглядами и действиями, с его позицией сохранения единой страны, с его самостоятельностью. Карманный Кабинет Министров был «освящен» измененной в декабре Конституцией, а теперь нужен был и его руководитель, которому они могли диктовать свои условия, не сообразуясь с интересами Великой Державы, какой был СССР.

В этих условиях нести ответственность перед народом, страной, историей, перед своей совестью за явно ошибочную политику, которой ты не можешь противостоять, которую не можешь изменить, — нет уж, увольте.

— Раз ты принял такое решение, хочу посоветоваться с тобой о кандидатуре на пост Председателя Кабинета, — сказал Горбачев доверительно, как он всегда умел. — Что ты, к примеру, думаешь о Маслюкове?

О Маслюкове, своем первом заместителе в Совмине, я думал хорошо, верил ему, о чем и сообщил Горбачеву. Хотя знал, что сам Маслюков отнюдь не рвется на должность Председателя, не принимая, как и я, поспешной реорганизации исполнительной власти. Уже после выяснилось — вопрос о Маслюкове задан был для проформы. Горбачев знал о его нежелании возглавить Кабинет.

Вторым Горбачев назвал Олега Бакланова, секретаря ЦК КПСС, тогда малоизвестного широкой публике. Ему еще только предстояло выйти на люди: до 19 августа оставалось семь месяцев...

В отличие от широкой публики, Бакланова я знал неплохо, почему и ответил сразу и однозначно:

— Абсолютно неприемлемая кандидатура на этот пост!

Он, как говорится, технарь, причем с весьма специфическим уклоном: космос, околокосмические дела — и все. А глава Кабинета Министров худо-бедно должен быть политиком и экономистом широкого профиля. И знать страну, ее проблемы. Все проблемы, а не только космические... Интересно, кто его выдвигает?

— Есть люди... — ушел от ответа Горбачев. — А что насчет Павлова?

Министра финансов Павлова я знал давно, работал с ним еще в Госплане СССР, где был первым зампредом у Николая Константиновича Байбакова, а Павлов занимал должность начальника отдела. Потом он был в Минфине, Комитете по ценам, снова в Министерстве финансов — уже в качестве министра. Как финансист, он неплохо разбирался в своем деле, но промышленности, производства не знал совсем, не смог бы вести диалог с производственниками. Ну, хотя бы с шахтерами (что, кстати, вскоре и подтвердилось на практике).

Я не собираюсь анализировать деятельность Кабинета Павлова при Президенте Горбачеве. Скажу лишь, что этот Кабинет работал в продолжающей быстро осложняться политической обстановке. Центробежные силы, во главе которых находились руководители России и Украины, разрушали единую страну и в первую очередь ее экономику. В такой обстановке нужно было проводить государственную политику максимально взвешенно. А тут — скоропалительный и крайне сомнительный по своим результатам обмен денежных купюр, а затем — и августовские дни 91-го...

Жесткое политическое противостояние не могло не сказаться, по-видимому, и на сплоченности членов Правительства. Вспомните, например, как один «демократический» министр Н. Воронцов аккуратно зафиксировал все выступления на известном августовском заседании Кабинета, чтобы потом нижайше преподнести их Ельцину. Вспомните твердый голос и указующий перст того на заседании парламента России: «Читайте, Михаил Сергеевич, что говорят ваши министры, читайте!» И Президент Советского Союза(!), как послушный ученик, читал.

А потом был позор в Верховном Совете СССР, на котором Горбачев просто сдал весь свой семимесячный Кабинет Министров. Но это всего лишь небольшое отступление...

— Ну, ладно, — Горбачев встал, прощаясь, — еще будем думать, советоваться. Вопрос серьезный. А ты, — он всех вокруг называл на «ты», а все вокруг называли его

на «вы». Я никогда не мог ни понять, ни объяснить такую одностороннюю «демократическую» манеру общения. — ...а ты выздоравливай. Ждем тебя. Нам еще работать и работать.

Горбачев ушел, я остался. Думал: 25-го меня обещают выписать, выйду из больницы — окончательно взвесим, кому сдавать дела, кто действительно сможет повести страну в тяжелейших условиях подготовки нового Союзного договора. Жаль, конечно, что это будет кто-то другой. Ведь за плечами у меня было пять беспокойных и сложных лет премьерства. Это были годы, когда одновременно с нелегкой ношей по управлению повседневной жизнью государства разрабатывались и проводились реформы в экономике, осуществлялась демократизация общества. Но я ведь сам много раньше, чем до болезни, сказал Горбачеву, что не стану возглавлять этот Кабинет: не могу согласиться с проводимой Президентом и руководителями некоторых союзных республик экономической политикой и ориентацией на разрушение Союза. Сказал тогда так, он же ничего не возразил.

А разговор в больнице, поставив окончательную точку в вопросе о моем участии в новом Правительстве, вместе с тем предполагал, что обсуждение кандидатуры моего преемника будет продолжено. К тому же я смогу по-человечески попрощаться с коллегами, с теми, с кем шел эти годы вместе. Но не тут-то было: жизнь быстро напомнила мне, что у Горбачева слова — это одно, а дела слишком часто, в большом и малом, — совсем другое, порой прямо противоположное.

Буквально через день, в понедельник 14 января, больничная изоляция от внешнего мира неожиданно была прорвана звонками наконец-то включенного телефона. То ли от кого-то из позвонивших, то ли от врача или медсестры — уж и не помню сегодня — я услышал удивленное: вы знаете, что Павлова утвердили Председателем Кабинета Министров?

Удивленное и, признаюсь, удивившее. «Серьезный вопрос», оказывается, долгих обсуждений и решений не потребовал. Между субботним вечерним визитом ко мне Президента и утренним понедельничным утверждением на сессии нового Премьера лег всего один выходной день.

У меня уже тогда возникло предположение, что и в субботу вечером Горбачев отлично знал, кто возглавит Кабинет Министров, а «совет» со мной был всего лишь привычной ему формой поведения. И, действительно, какое-то время спустя выяснилось, что решение о назначе-

нии Павлова Президент не только принял, но и согласовал с ним чуть ли не за три недели до своего визита ко мне.

И возвращаясь потом не раз в своих мыслях к этому эпизоду, я все больше приходил к убеждению, что его совет со мной был в лучшем случае формальной данью вежливости, а то и просто сценой из очередной постановки в «театре для себя», в котором он пытается играть главную и единственную роль до сих пор.

Как бы то ни было, но Президент свою излюбленную роль в очередной раз в тот вечер сыграл, но мне-то вся эта душеспасительная театральность была ни к чему: я для себя все решил еще в ноябре 90-го...

14 ноября, ровно за два месяца до описываемого понедельника, в Кремле открылась очередная сессия Верховного Совета СССР. Она тоже оказалась достаточно «черной» и для Президента, и для возглавлявшегося тогда мной Совета Министров, и для самих депутатов. Они, наконец, сообразили, что в процессе своей законотворческой деятельности попросту проговорили, проболтали, протрезвонили ситуацию в стране.

Пребывая в эйфории в связи с установившимся верховенством в стране Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР и видя корень зла в исполнительной власти в лице Совета Министров, которую они всячески и нередко безосновательно поносили, парламентарии вряд ли до конца понимали, что тем самым разрушали основы устойчивости функционирования государства. Впрочем, во многом это делалось сознательно и не являлось результатом ошибок и заблуждений. Искусственно насаждаемый плюрализм мнений, попавший на неподготовленную почву, позволил безнаказанно расшатывать устои государства. Агрессивное меньшинство депутатского корпуса, за спиной которого стояли известные стране режиссеры из Межрегиональной группы, а у них, в свою очередь, были отечественные, а главное — зарубежные кукловоды, наверняка свои, настойчиво и целенаправленно вело работу по изменению существующего общественного строя, устранению тогдашнего руководства и в первую очередь — Правительства Рыжкова. Огонь велся на поражение. Это была все более откровенная борьба за власть, которая увлекла и многих здравомыслящих депутатов. К сожалению, руководство страны, в том числе и Совет Министров, не сумело убедить их в пагубности этих действий, мирилось с ними.

Не стану напоминать подробно о ходе этого заседания, о действительно горьких и недоуменных высказываниях депутатов. Пусть об этом Рафик Нишанов вспоминает — он то заседание вел. Поделюсь лишь моим собственным впечатлением. Именно 14 ноября я и определил бы как день кризиса власти вообще.

Здесь, однако, стоит сделать по крайней мере три замечания.

Первое: конечно, всякий кризис власти есть процесс, постепенно созревающий и в «день X» лишь становящийся особенно очевидным.

Второе: при всех различиях в функциях законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти их практическая деятельность так тесно переплетена, что ослабление одной из них неизбежно влечет за собой рано или поздно ослабление двух других. Этой закономерности ни Съезд, ни Верховный Совет, ни их руководство так и не поняли. Возвеличивая законодательную власть в немалой степени за счет исполнительной, они, даже подведя свою собственную к кризису, продолжили эту губительную для страны линию, согласившись вместо Совета Министров создать Кабинет Министров с еще большим ограничением его прав и полномочий. Но и Президент, и Верховный Совет СССР носились с идеей Кабинета, как с панацеей от всех бед и невзгод, постигших страну на шестом году перестройки... По-моему, такое решение в конкретной обстановке того времени могло быть продиктовано лишь отчаянием, помноженным на обычно сопутствующую ему глупость, или прямой провокацией заинтересованных сил в их борьбе с государственной властью, что и произошло в дальнейшем.

И третье замечание: кризис власти, как правило, есть отражение кризиса в стране, одна из форм его проявления. Ну, а что она быстро втягивалась во всеобщий кризис, уже было видно в то время невооруженным глазом. И когда давние, активные и целенаправленные усилия депутатов свалить на Правительство всю ответственность за кризис не привели к выходу из него, настала очередь Президента, а потом и их самих.

Итак, в этот день во многих выступлениях на сессии Верховного Совета звучало требование к традиционно отсутствующему Президенту: выступить перед депутатами и высказать свое мнение о положении в стране и о путях выхода из кризиса, если он такие пути видит.

Связавшись в перерыве с Горбачевым, Нишанов сообщил депутатам, что тот дал согласие выступить с докладом о положении в стране через два дня — 16 ноября. Ждать оставалось недолго. Другой вопрос — чего ждать?..

Не знаю, кто готовил Президенту доклад: в ту пору со мной он уже почти ни о чем не советовался, ни о каких своих планах не сообщал. Знаю лишь, что многие подразделения Совета Министров в те два дня в пожарном порядке готовили для президентского аппарата справки о положении с продовольствием, с топливом, с промышленными товарами... Доклад получился в худшем смысле этого слова традиционным, он напоминал отчет руководителя на партхозактиве: в целом все хорошо и совсем немножко плохо. Правда, некоторая нетрадиционность в докладе была: самобичевание в нем было поднято до уровня мазохизма. Ничего серьезного и продуманного, прочувствованного, наболевшего в нем, увы, не было. Такой доклад в совершенно новой, критической ситуации был просто позорным в интеллектуальном и политическом отношении: он показал, что Горбачев ничего не понял в сложившейся обстановке и решил снять проблему очередным приступом «словоговорения».

Реакция не заставила себя ждать: депутаты выступали резко, хлестко, не жалея Президента, как, впрочем, и Председателя Совета Министров. Ну, я-то давненько был бревном в глазу, а может быть, еще чем-то или кем-то для всех тех, кто слово «Центр» считал последним ругательством. Тем не менее, время для его, Центра, окончательного уничтожения еще не пришло. Недаром Ельцин, взвалив на Совет Министров всю без остатка вину за положение в стране, говорил все же осторожно: «Центр в прежнем своем виде явно стал дестабилизирующим, даже тормозящим фактором».

Вскоре, однако, выяснилось, что Центр и в любом ином виде лидерам разбегавшихся суверенных республик не нужен. Может быть, завтра или послезавтра и придут к ним здравомыслие и дальновидность, однако не поздно ли будет? Не пора ли всерьез сегодня прислушаться, наконец, к мнению подавляющей части населения бывших республик СССР, а ныне независимых государств, о необходимости создать новый Союз? Об этом говорит и тот факт, что двое из трех современных геростратов — Шушкевич и Кравчук — потерпели недавно сокрушительное поражение на прези-

дентских выборах в своих странах. По-видимому, не стоит этому удивляться. Люди в конечном итоге сумели разобраться, что их естественное стремление к расширению экономических и политических прав своих республик было ловко подменено сепаратизмом, обернулось вопреки воле народов СССР, выраженной на Всесоюзном референдуме, уничтожением могучего единого государства. О том же, как это сказалось на жизни практически всех трехсот миллионов бывших советских граждан, говорить особо не приходится: кроме узкого слоя нуворишей и уголовников каждый человек ежедневно испытывает это на себе.

Но вернемся к событиям четырехлетней давности. Надо отдать должное Горбачеву: он — политик с обостренным чувством личной опасности. Этого качества у него не отнять. Он быстро сообразил, что ситуация в Верховном Совете катастрофически выходит не только из-под контроля его и Лукьянова, но и вообще из-под какого-либо контроля.

Он же, Горбачев, по-прежнему считал себя судьбой обреченным держать руку, как говорится, на пульсе жизни, чтобы при любом повороте событий оставаться на вершине пирамиды власти. И на следующий же день утром он позвонил мне на работу из своего ЗИЛа и сообщил, что едет в Кремль на сессию и хочет выйти к депутатам с новыми радикальнейшими предложениями. Он не перечислял мне всего, сказал лишь о создании Кабинета Министров, подчиненного лично Президенту, вместо существующего по Конституции Совета Министров.

В принципе сногшибательной новостью для меня это не стало. В стране по активной инициативе самого Горбачева и с чуть менее активной депутатской поддержкой создавалась весьма дурацкая (другого слова не подберу) ситуация, когда возникли и, главное, действовали две исполнительные власти одновременно: президентская и правительственная. И там, и здесь рождались постановления, решения, а у Президента — и указы, зачастую вызывавшие у меня и моих заместителей полное недоумение. Более того, уж лично мне-то такое дублирование вообще боком выходило.

В тот последний год моего тяжелого премьерства во всех бедах и пагубах, мыслимых и немыслимых, виноват оказывался именно Рыжков со своим Совмином. И даже в несудачных, не воспринятых широкой общественностью и республиками многочисленных указах Президента тоже вольно было моим «доброжелателям» видеть руку того же вездесущего Рыжкова: мол, через Совет Министров порочное

решение не желает проводить, так он его — через Президента. Пусть, дескать, отдувается глава государства.

Подобная двойственность в управлении страной, спекуляции на «демократическом» Президенте и «консервативном» Предсовмина не могли дальше продолжаться. Надо было и впрямь кардинально менять структуру исполнительной власти, но... Это треклятое «но»! За ним всегда спешит череда непростых вопросов.

Как менять? Кому менять? Какой быть исполнительной власти? Какие должны быть полномочия Центра и республик? В каком виде и в каком объеме?.. Десятки вопросов, и на все мог ответить только Союзный договор, который в те дни готовился.

Без четкого определения структуры политических, экономических, культурных и других взаимоотношений мчащихся к полной «суверенизации» республик бессмысленно, вредно и опасно было устраивать в Центре чехарду власти. Так я считал, так и по сей день считаю. Так же считали в те дни мои соратники и единомышленники. И, кстати, время, и весьма недолгое — восемь месяцев до августовских дней 91-го, показало, что я не ошибался.

Страна была на переправе: от унитарного мышления — к многообразию идей и взглядов, от безраздельного, по существу, господства государственной собственности — к различным ее формам преимущественно, от централизованного государственного управления — к максимально возможной политической и экономической свободе республик, от жесткой плановой экономики — к социально-ориентированной рыночной, от вертикальных связей в хозяйствовании — к горизонтальным и т. д. В такой сложнейшей обстановке любые неосторожные, грубые изменения в структуре исполнительной власти чрезвычайно опасны. Но для некоторых политиков, а точнее — политиканов, это стало самоцелью: мол, давай все менять, независимо от издержек, лишь бы что-то делать или хотя бы создавать видимость какого-то движения.

Обо всем этом мы не раз говорили с Президентом: и на различных общих заседаниях, и, случалось, один на один. Я помню совещание у Горбачева, где обсуждался этот вопрос. Смысл моего выступления заключался в том, что нельзя иметь в стране две исполнительные власти. Существует альтернатива: или Президент берет на себя всю полноту этой власти и за все отвечает, или он должен иметь весьма ограниченные полномочия (по типу Президента ФРГ или

английской королевы), передав всю полноту исполнительной власти Совету Министров. Но сделать это надо при подготовке нового союзного договора. Многие поддерживали мои предложения, а Гавриил Попов в знак согласия уж очень активно кивал головой.

До недавних пор Президент разделял мое мнение, а в тот день, утром 17 ноября, перестал разделять. Бывает.

Вот почему я и заявил ему на его прозвучавшее из мчащейся машины безлико-обтекаемое «Нельзя больше ждать, ситуация требует»:

— Вы — Президент. Вам решать.

И только спросил вдогонку:

— Когда вы внесете свои радикальные предложения?

Он ответил:

— Сейчас. Немедленно.

И положил трубку. В Кремле все рядом. Я был на сессии раньше него.

Президент выступил первым — сразу после регистрации членов Верховного Совета. Потом его очень краткое выступление падкие на красоту газетчики назовут по-западному броско: «Восемь пунктов Горбачева».

Они включили в себя и расширение прав и функций Совета Федерации, и упразднение Президентского совета (который толком так и не заработал), и создание Совета безопасности. И еще некоей структуры по координации деятельности правоохранительных органов. И еще какой-то Контрольной палаты для того, чтобы следить за выполнением законов и указов.

Все это сопровождалось привычно пустыми барабанными словами об «упорядочении», «обеспечении», «сохранении», «взаимодействии», об обновлении Союза, скорейшем подписании Союзного договора и «тесном взаимодействии» Советов. О вице-президенте. Ну, и, наконец, о создании Кабинета Министров, куда «должны войти новые, инициативные, по-современному мыслящие работники».

Причем особо было подчеркнуто, что все структуры при Президенте, включая Кабинет Министров, следует создать, «не откладывая, не дожидаясь подписания Союзного договора». Вот тебе и поддержка моих предложений! С кем он советовался в ту ночь? Только не со мной. Тайна сия велика есть.

И снова надо отдать Горбачеву должное: на этот раз говорил он горячо, убедительно. Более того: в отличие от своего вчерашнего доклада, предлагал депутатам, а за ними — стране конкретные, вроде бы, и, несомненно, броские

меры, которые резко ломали давно сложившиеся и, на взгляд законодателей, не оправдавшие себя формы управления. Депутаты заждались именно таких решений, которые выходили бы за рамки привычных представлений и, кто знает, может быть, принесли бы хоть какой-то результат. И надо было по-настоящему знать нашу малоповоротливую, медлительную Систему, чтобы отчетливо увидеть популистскую скороспелость и легкопрогнозируемую безрезультатность его предложений.

Увы, депутаты таким знанием еще не обзавелись, не успели. Потому и приняли — в основном — все восемь пунктов «на ура».

Я тоже выступил в этот день.

Говорил о том, что давно наболело — о целенаправленно и мощно ведущемуся разрушении в стране единой политической системы и, как следствие, предательстве и гибели самой идеи перестройки.

Меры же, предложенные Президентом, поддержать не мог, не понимал и не принимал их. Горбачев знал мое мнение. А от слепого, рабского верноподданничества я всегда бежал как от чумы.

Да и Бог с ними, с «радикальнейшими» горбачевскими пунктами — и без меня у них радетселей в избытке нашлось! Я же вновь твердил о главном, на мой взгляд:

«Хочу откровенно сказать: тот, кто сегодня выступает против общественного согласия, разжигает страсти, сеет недоверие, тот играет судьбой буквально миллионов людей, во имя своих личных амбиций берет на себя тяжелую ответственность перед народом. Неужели история, в том числе наша собственная, еще не всех научила, что подхлестывание страстей приводит к разрушению и насилию!»

Сейчас, со стороны глядя, понимаю: наивный крик. История — тот прекрасный, умный, но почему-то никем не почитаемый учитель, который не умеет и не хочет наказывать сразу. Он знает: придет время, и ученик все сам поймет. Сам... Впрочем, если поймет. Довольно точно заметил Александр Галич: «Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды!»

Никого, верно. Тем более — чужой опыт...

Не могу, читая нынче газеты, смотря по телевизору «Вести» и «Новости», не вспомнить и не привести еще несколько слов из того же моего ноябрьского выступления:

«По существу, делается заявка на то, чтобы руководство России стало центром власти взамен всех ныне действующих

государственных структур. Но согласятся ли с этим другие республики? Ведь, безусловно, эта деструктивная политика может привести к развалу государства, создававшегося столетиями». (Разрядка моя. — Авт.)

Разве я ошибся?

Ни я, ни кто-либо из моих заместителей не хватался за свои кресла, как за спасательные круги. Все мы прекрасно понимали, что жить Совету Министров в прежнем виде оставалось недолго. Мы были уверены, что Съезд народных депутатов, назначенный на 17 декабря, добьет существующее Правительство окончательно. И начнут беспощадно критиковать предшественников и множить новые, уже свои ошибки!

Тучи над правительством сгущались. Пошло широко-масштабное, хорошо продуманное наступление, как говорится, по всему фронту. Незадолго до того появившаяся программа «500 дней», о которой я расскажу дальше подробно, уже стала оружием леворадикалов в борьбе с Правительством.

В начале августа 90 года у Президента состоялась встреча с экономистами и публицистами определенного толка. О ней, о ее содержании, как ни парадоксально, глава Правительства узнал из прессы. Я не собираюсь предлагать читателям анализ всех выступлений. Но хочу заметить, что прошло всего два месяца после моего доклада о переходе на рыночные отношения, а участники встречи поспешили сделать выводы о том, что сторонники перестройки сталкиваются с огромной инерцией и противодействием переменам, что идет сплочение консервативных сил. Президент же считает, что прогрессивные силы должны выстоять, не допустить раскола в своих рядах, дабы не дать оружие консерваторам, и что наш тормоз — это боязнь рисковать...

Так через два месяца была проведена грань между теми, кто внес предложения по постепенному переходу на социально-ориентированный рынок, и радикалами, которые «не боялись рисковать». Но чем? Своим положением, своей судьбой? Нет, они охотно рисковали судьбой государства, судьбой миллионов, которые очень скоро на себе испытали результаты их радикализма. Выступая, эти деятели горячо и страстно говорили об ужасных в нашей истории годах, когда действовал принцип «революционной целесообразности», которым оправдывались различные формы насилия

над обществом, над людьми. Но ведь их радикализм — это тот же принцип, разве что с противоположным знаком, — принцип «контрреволюционной целесообразности»...

Я вспомнил об этом совещании, где было так много тех, чьи фамилии следует сохранить для истории: Бунич, Лацис, Шмелев, Селюнин, Бергер и другие, — лишь потому, что они обрушили глыбы радикализма на наш народ, они готовили идейный плацдарм для будущих гайдаровских авантюристических действий, создавали общественный климат для них.

На мой взгляд, вполне четко подвел итоги Клямкин, сказавший, что политическое время Правительства исчерпано, и цель собрания — продлить политическое время Президента. И когда сейчас экс-Президент пытается критиковать существующее положение в России, ему бы следовало вспомнить, кто давал импульсы леворадикальным силам, талантливым в разрушении, но бездарным, как оказалось, в созидании.

Возвращаясь к тем тяжелым для Правительства дням, хочу сказать доброе слово в адрес моих коллег, которые знали уже о предстоящем уходе со своих постов. Где-то вскоре после 17 ноября собрались вечером за столом заседаний Совмина и разговорились по душам. Были: я, мои заместители, Павлов — тогда министр финансов, он по должности входил в состав Президиума Совмина, управляющий делами М. С. Шкабардня... Все, по-моему.

Кто-то начал первый: мол, Николай Иванович, Совет Министров не сегодня завтра почит в бозе, это всем ясно. Как нам отнестись к тому формированию, что явится на смену? К Кабинету Министров, например... Отвернуться? Обидеться? Уйти? Это легче всего! Но ведь дело-то не в наших личных судьбах. Хотя и о них тоже приходится думать. Мы лично стали врагами тех, кто последовательно разваливает страну, а сегодня речь идет действительно о ее судьбе, о судьбе общего дела.

У меня спрашивали совета: как поступить. Это отнюдь не значит, что все мои соратники сами для себя не решили, кому как быть. Лыщу себя надеждой, что мое мнение было для них безразличным: слишком много соли вместе съели. А я и не стал своего мнения скрывать.

Мостовой? Что ж, как ни грустно, но ему пришла пора уйти на пенсию, вряд ли он прижился бы в любой новой структуре. Догужиев? Он должен работать, если предложат. А не предложат — страна велика, дел много. Рябев? Ему

с его знаниями проблем топливной энергетики вряд ли можно скоро найти адекватную замену. Абалкин? Он, помню, усмехнулся: уж я-то точно не останусь, займусь вплотную своим институтом, наконец. Маслюков? И он заявил: даже если предложат, не останусь, устал невероятно. Павлов? Пожалуй, горячее всех других убеждал: у меня есть куда отступить (он тогда был и президентом концерна «Деловой мир»), мне эти «игры в начальство» совсем не нужны... Ну, а Рыжков? Вы-то как, Николай Иванович, спросили меня, вы-то останетесь, если попросят? Ответил коротко и безоговорочно: нет. Славно мы тогда поговорили, все друг про друга выяснили...

Да, кстати. Сразу после оглашения «восьми пунктов» Совет Министров попытался помочь президентской исполнительной власти. Мы посоветовались, поспорили и составили записку Горбачеву, в которой предложили свой вариант структуры Кабинета Министров, подчиняющегося непосредственно Президенту. Специально подчеркнули: «мы не руководствовались личными или политическими амбициями», но готовили свои предложения, «исходя исключительно из чувства долга перед страной и народом, сознания своей гражданской ответственности за будущее Советского государства». Все вместе эту записку готовили, все вместе и подписали. Никто не ушел в сторону. Отослали в аппарат Президента — и никакой реакции. Зная порядки, я убежден, что она была ему доложена.

Но ответа не дождались. Инициатива оказалась хоть и ненаказуемой, но абсолютно никому не нужной. Президент, как обычно, все знал сам и лучше всех.

А в первой декаде декабря мы встретились с Горбачевым один на один в его кабинете. Разговор тянулся вяло, наполнен был общими словами и общими местами — ни уму, ни сердцу. И тут я решительно сказал:

— Михаил Сергеевич, нам от этой темы не уйти, как бы больно ни было. Моя позиция вам отлично известна. И не только вам. До заключения Союзного договора менять что-либо в структуре исполнительной власти — бессмысленно и опасно. Что это может дать, кроме анархии и окончательного разброда? Вы, кстати, недавно сами говорили о недопустимости правительственного кризиса. Сейчас вы его допустили. Не знаю, понимаете ли вы трагические последствия скоропалительной ломки структуры государственной власти? Раз уж такое решение принято, то прошу на меня не рассчитывать. В этой игре я участвовать не стану.

Он ответил не сразу, через паузу, которая показалась раздражающе долгой:

— Ты окончательно решил?

— Да, — кивнул я, — куда окончательней.

Показалось или нет: он будто бы вздохнул облегченно. Сказал:

— Решил так решил... Но не волнуйся, без работы мы тебя не оставим.

Уж это меня в то время волновало меньше всего. Но, к слову, ни он, ни за ним пришедшие никакой работы мне так и не «оставили». Сам же я ни фонда, ни института, ни еще какой-либо экзотической структуры не создал — в отличие от него и некоторых других, которые, занимая ответственные государственные посты, организовывали вместе с тем для себя запасные плацдармы.

Полтора года я был без работы. А потом бывший глава Правительства вновь, как много лет назад, прошел через проходную одного из заводов... И если бы только я. Тяжело видеть многих министров и других руководителей, богатых знаниями и государственным опытом, которые для обеспечения минимальных жизненных потребностей вынуждены находить себе работу в различных структурах, где зачастую их огромный потенциал остается втуне.

17 декабря 1990 года в Кремле открылся Четвертый съезд народных депутатов СССР.

Маленькое отступление под «оригинальным» названием «От съезда к съезду».

Май 1989 года. Первый съезд народных депутатов СССР. Демократические выборы Верховного Совета — старой по имени, но новой по сути структуры государственной власти. Выборы Председателя Верховного Совета. Утверждение Съездом кандидатуры Председателя Совета Министров СССР.

Март 1990 года. Выборы Президента, Председателя Верховного Совета СССР. Возникновение Совета Федерации, Президентского совета.

Декабрь 1990 года. Бесславная смерть Президентского совета. Возникновение Совета безопасности. Изменение функций Совета Федерации. Утверждение кандидатуры вице-президента. Ликвидация Совета Министров СССР. Появление Кабинета Министров.

Итак, за полтора года власть в стране была кардинально реорганизована трижды. Трижды рождались, умирали, видоизменялись ее многочисленные и, как быстро оказывалось, малоэффективные структуры.

Да какое же государство выдержит подобную круговерть?! Это надо иметь великолепно развитую экономику, абсолютно независимую от любых перемен власти, чтобы жить, не обращая внимания на политические кульбиты. Наша же экономика прямо-таки рассыпалась под тяжестью по существу неуправляемой политики.

Помнится, мне довелось присутствовать на встрече Горбачева с руководителями средств массовой информации. Так там он просто набросился на дерзких газетчиков, потребовавших от него обозначить четкую концепцию перестройки. Ее невозможно уложить в прокрустово ложе какой-либо концепции, яростно утверждал он. Ехидно вопрошал: если ноги будут с этого ложа торчать, значит — надо их отрезать?

В пылу реформаторского зуда было начисто забыто, что управлять — значит предвидеть. Теперь ясно, что первый и главный удар по перестройке своей неумелой, непродуманной, бесконцептуальной политикой нанес ее, перестройки, глашатай, «певший» к тому же с голоса своих столь же некомпетентных в деле, за которое они взялись, «прорабов», а скорее маляров, хорошо научившихся за свою жизнь без малейшего зазрения совести перекрашивать белое в черное и наоборот. Ну, а если даже краской не удастся скрыть, что изделие запорото, то что с ним делают? Правильно — выбрасывают, что и произошло с перестройкой. Поднять действительно великое знамя, а затем самому бросить его на поругание — это ли не предательство поистине исторического масштаба?

Но — конец отступления. Вернемся к описываемым событиям. Третья стадия полугодового реформирования системы государственного управления была начата на заседании Съезда 25 декабря 1990 года. В этот день стали обсуждать вопросы ликвидации Совета Министров СССР и создания Кабинета Министров при Президенте. О нашей записке никто не вспомнил, а точнее, никто о ней и не знал. Было совершенно очевидно, что Кабинет Министров готовился как подручный аппарат Президента. У этого органа не было даже права законодательной инициативы, которое имело, скажем... общество филателистов.

В перерыве я прошел в комнату президиума, встретился там с умным человеком и хорошим поэтом Давидом Кугультиновым. Завязался разговор:

— Сейчас мы хоронили Совет Министров, которому в 91 году исполнилось бы сто тридцать лет.

Откуда-то сзади возник Горбачев, поймал конец фразы, спросил:

— Ты о ком?

— О чем. О Совете Министров. Вы, Михаил Сергеевич, знаете, с какого времени он существует, вернее, существовал в стране?

— С какого? — на мгновение задумался Горбачев. — С Ленина, наверное...

— Не угадали. С Александра Второго Николаевича. С 1861 года. Здорово мы к такой дате подходим.

Вечером, после Съезда, прошло заседание Совета Федерации. Всех волновал 91 год, состояние экономики страны. Верховные власти республик стремительно уводили их от Центра и друг от друга. На территории уже большого СССР шла беспощадная война финансов, война законов — центральных и республиканских. Рвались десятилетиями налаженные производственные связи.

Я поднимался дважды, говорил: никакие скороспелые новые законы и указы ничего не решат, надо выполнять принятые, подчиняться единым правилам экономической жизни страны, прекратить раздор республик с Центром. Оставить эти проблемы для нового Союзного договора.

Очень тяжкий был разговор. Он продолжился ночью уже со своими — в Совмине. После моей неутешительной информации все мы сделали вывод: страну окончательно и настойчиво загоняют в тупик...

Домой приехал где-то в начале первого ночи, ужинать не стал. Поговорили с женой, Людмилой Сергеевной. Лег почитать перед сном. Всегда на прикроватной тумбочке — стопка книг: обычно читаю три, четыре, а то и пять — какая под настроение в руки ляжет. В тот раз легла совсем крохотная: «Письма о добром и прекрасном» Дмитрия Сергеевича Лихачева, я к ней давненько примерялся. Легко вчитался, дошел до письма с простым названием «Самая большая ценность — жизнь», отметил строчки: «Душно бывает в доме, душно и в нравственной жизни»...

Отложил книгу, лежал с закрытыми глазами. С недоумением слушал, как неизвестно откуда беспощадно и грозно поднималась черная глухая боль, заполнила грудь, мощно зажала сердце, постепенно превратив его в хрупкий, беспомощный, разрывающийся от духоты комочек...

А под утро «скорая помощь» увезла меня в больницу.

В часы и дни неподвижности, когда все, на чем держалась моя бурная повседневная жизнь, отошло в сторону, когда

сиюминутные страсти перестали довлеть надо мной, воспоминания заполнили меня целиком. Перед глазами чередой проносилась жизнь, ее взлеты и падения, радости и печали, дружба и предательство. Почему было так «душно» именно сейчас, после пятнадцати лет жизни в Москве и работы в высших эшелонах власти? Что же меня стесняло, что давило? Уж во всяком случае, не моя четвертьвековая работа на Уралмаше сменным мастером, начальником цеха, главным инженером, генеральным директором. Там все было пусть трудно, пусть не безоблачно, но удивительно счастливо. О том, что может быть так «душно», я тогда даже и не думал. Сейчас же духота и физическая, и нравственная давит, обволакивает меня со всех сторон. Мысли рассеиваются: то они сосредоточиваются вокруг непривычной для меня неподвижности, то вновь и вновь возвращают в удушливую атмосферу уходящего года...

Была она действительно удушливой — атмосфера измен и предательств, хитрости и лукавства, лицемерия тех, с кем шел рядом все последние годы. Те люди, которые еще вчера клялись в верности нашим общим идеалам, сегодня с садистским наслаждением растаптывали их, отрекались от своих прежних убеждений, вовремя перебегая в стан недавних противников.

Подхлестывая толпу популистскими лозунгами, заведомо не выполнимыми, эти люди громили Правительство, обвиняя его во всяческих грехах, повсеместно сеяли недоверие к его деятельности, убивали нас за верность нравственному долгу, за сохранение моральных принципов жизни. Ведь для того, чтобы убить человека в человеке, его вовсе не обязательно уничтожать физически.

Да, по-видимому, мир не может быть без таких людей, как добро — без зла. Верно сказал один известный российский поэт: «Друзей я сердцем выбирал, врагов судьба мне посылала».

И все же начало было иное.